

МАКСИМОВИЧ ЖЕЛЬКО

БИО, КРАСНЫЙ КРЕСТ



Желько Максимович
Био, Красный крест

«Автор»

2026

Максимович Ж.

Био, Красный крест / Ж. Максимович — «Автор», 2026

Представленный текст — остросюжетная медицинская драма, повествующая о вспышке неизвестного заболевания в сибирском регионе. В центре повествования — история врача-инфекциониста Натальи Ершовой, столкнувшейся с загадочной эпидемией в больнице «Красный Крест» в Иркутске. Действие разворачивается на фоне природных пожаров и аномальной жары, что усугубляет ситуацию. В больницу поступают пациенты с необычными симптомами: чёрными точками на коже, белыми глазами и специфическим сладковатым запахом. Главный врач и медицинский персонал пытаются установить природу заболевания и предотвратить его распространение. Произведение исследует несколько ключевых тем: Природа и механизмы распространения неизвестного патогена Работа медицинских специалистов в условиях кризиса Взаимодействие системы здравоохранения с потенциальной угрозой Исторические корни современной эпидемии Этические дилеммы при принятии экстренных решений

© Максимович Ж., 2026

© Автор, 2026

Желько Максимович

Био, Красный крест

Глава 1. Чёрная метка

Иркутск задышался.

Не метафорически — буквально, физически задышался, как человек с руками на горле, и это было видно из любого окна шестого этажа инфекционного корпуса больницы Красный Крест: коричневое небо над городом, рыжая дымка вдоль горизонта, солнце — малиновое, плоское, лишённое всякого достоинства, — висящее над трубами промзоны, как фонарь в притоне. Горела тайга где-то под Усольем. Третью неделю горела, и теперь уже никто не говорил запах гари — говорили просто воздух, как будто другого и не бывало. Едкая взвесь просочилась сквозь щели в рамах, через вентиляционные решётки, через поры кожи, и Наталья Андреевна Ершова, инфекционист с двадцатилетним стажем, ощущала её во рту постоянно — горькую, смоляную, с привкусом конца чего-то большого.

Она стянула перчатки — левую, потом правую, методично, как делала это тысячи раз, — и скомкала в комок у урны. Резина щёлкнула. За окном, в светлеющем июльском небе, проплыл вертолёт МЧС — уже третий за ночь, низкий, натруженный, тянущий за собой запах авиационного керосина поверх запаха горящего леса. Ершова проводила его взглядом, не думая ни о чём особенном. Ночное дежурство заканчивалось. Шесть пятнадцать утра. Сорок три года, поясница, семь пациентов, все стабильны, все унылы, все с обычными болезнями обычных людей, которые принято лечить обычными средствами.

Кондиционер в ординаторской не работал. Кондиционеры по всему корпусу не работали — третью неделю, то есть ровно столько, сколько горела тайга, что казалось каким-то извращённым совпадением. Бухгалтерия их списала ещё в апреле, когда цена на фреон скакнула, а ремонтная бригада пришла, посмотрела, выставила счёт и больше не появлялась. Главврач Симоненко обещал. Симоненко много чего обещал. В инфекционном корпусе было плюс тридцать два по Цельсию, и Ершова за эту ночь выпила четыре стакана тёплой воды из кулера, у которого тоже, судя по всему, что-то было не так с охладителем.

Она вытерла пот со лба тыльной стороной запястья. Посмотрела на часы — хорошие, швейцарские, подарок покойного мужа Андрея, с гравировкой на задней крышке, которую она давно перестала читать, потому что слова там были правдивые и потому болезненные. Шесть восемнадцать. Через сорок минут придёт Сочнева — принять смену, выпить кофе из термоса, поговорить о том, что в столовой снова поменяли поставщика, и котлеты стали хуже. Ершова уже мысленно видела свою квартиру: шторы задёрнуты, вентилятор гудит на второй скорости, кот Малахит лежит поперёк подушки и смотрит с укоризной. Нормальное утро после нормального дежурства.

Дверь в ординаторскую распахнулась так резко, что ударилась о стену.

Санитар Олег Примаков — двадцать четыре года, студент-заочник медицинского, парень с вечно жизнерадостным выражением лица, который два года назад начал работать в инфекционном, потому что тут лучше платили, и с тех пор ни разу по-настоящему не испугался,

потому что молодость и потому что везло, — стоял в проёме блее штукатурки. Не бледный. Белый. Губы у него дрожали мелко и некрасиво, как у ребёнка перед плачем.

Ершова видела разное за двадцать лет. Видела менингококковый сепсис за четыре часа до смерти. Видела некротизирующий фасциит, который один ординатор назвал тем, что снится потом. Видела ковидную волну две тысячи двадцать первого, когда они клали пациентов в коридорах и молились, чтобы хватило кислородных концентраторов. У неё был выработан иммунитет не только медицинский, но и эмоциональный — жёсткий, необходимый, не жестокий, но надёжный, как броня.

Олег был её мерил. Если Олег испуган — значит, что-то не так.

Олег был испуган до потери нормального цвета лица.

— Наталья Андреевна, — сказал он. И замолчал. Сглотнул. — Там... вы выходите.

Не посмотрите, не там пациент, не скорая привезла. Просто — вы выходите. Как будто больше ничего объяснить было нельзя или не нужно.

Она не пошла. Она побежала.

Коридор инфекционного корпуса в половину седьмого утра должен быть тихим. Не мёртвым — больница никогда не бывает по-настоящему мёртвой, в ней всегда что-то гудит, плачет, скрипит, кто-то кашляет за закрытой дверью, кто-то идёт со шваброй по линолеуму, — но тихим, усталым, предрассветным тихим. Ершова знала этот коридор наизусть: трещина в кафеле на третьей плитке от сестринского поста, выцветший плакат про гигиену рук, окно в торце, через которое летом видны берёзы.

Сейчас коридор орал.

Не кричал — орал. Низким, разорванным криком, который не был криком боли. Боль Ершова научилась распознавать по тембру — в боли есть что-то волнообразное, ритмичное, она следует за телом. Это был крик другого сорта. Животный, первобытный, тот, который выходит из человека, когда разум встречает нечто, для чего у него нет категорий.

Крик ужаса.

Он шёл из приёмного. Ершова на бегу уже застёгивала верхнюю пуговицу халата, уже думала: аллергический шок, анафилаксия, нужен адреналин, — думала автоматически, потому что мозг искал знакомое, потому что знакомое можно лечить. У приёмного столпились: медсестра Зоя, прижавшая руки ко рту; фельдшер скорой в оранжевом жилете, который стоял у дверей и смотрел в планшет с видом человека, которому очень нужно смотреть именно в планшет, а не на то, что лежит на каталке; санитарка Маргарита Степановна, которая в свои шестьдесят лет видела всё и ничему не удивлялась, — и она стояла у стены, прижавшись к ней спиной, и читала молитву по губам.

Ершова протиснулась сквозь них.

На каталке лежал мужчина.

Ей потом скажут, что его звали Геннадий Сомов. Пятьдесят три года. Лесозаготовитель из бригады Усольлеспрома, работавшей на делянках к северу от Малой Ушаковки. Женат, трое детей, средний — в армии. По карточке — здоров, если не считать хронического гастрита и однажды леченного туберкулёза лимфоузлов двенадцать лет назад. Непьющий, что для лесозаготовительных бригад было редкостью. Надёжный, говорили потом коллеги. Спокойный. Никогда не жаловался.

Сейчас он лежал, и его было почти невозможно опознать.

Не потому, что его лицо было изуродовано — оно не было изуродовано в привычном смысле слова. Черты оставались на месте: нос, лоб, подбородок, тяжёлые надбровные дуги работяги, привыкшего к морозу. Но кожу покрывала россыпь точек — чёрных, абсолютно чёрных, не тёмно-коричневых, как при некрозе, не синюшных, как при сепсисе, а именно чёрных, цвета свежей смолы или воронёного металла. Их были десятки — на лбу, на щеках, на подбородке, на шее, на тыльных поверхностях рук, торчавших из рукавов брезентовой куртки. Расположены беспорядочно, но не хаотично: каждая точка была центром тёмного волдыря, который вздувался над поверхностью кожи сантиметра на полтора-два. Ершова потом искала аналогию долго и нашла её не в учебниках, а в памяти: в детстве она видела осьминога в зоопарке, и присоски на его щупальцах выглядели примерно так — округлые, тёмные, точные.

Вокруг каждого волдыря кожа была стянута в мелкие складки, будто ткань вокруг пуговицы. Ареол воспаления — не красный, а синевато-серый, с металлическим отливом. Размером с десятирублёвую монету каждый.

Ершова надела очки. Она носила их только для детальной работы — видела прекрасно, но в сорок три дальность зоркость начала брать своё. Наклонилась. Расстояние между её лицом и лицом Сомова было сантиметров тридцать, и она знала, что это слишком близко, что она нарушает протокол, что нужно перчатки и маску, — но она уже видела, и знание тянуло её ближе, как притяжение.

Из волдырей сочилась жидкость. Прозрачная, слегка вязкая — лимфатического вида, но с зеленоватым оттенком, тонким, как акварельная краска в стакане воды. Она стекала по коже медленно, не каплями, а непрерывными тонкими дорожками. Пятна на брезентовой куртке — светлые, влажные.

Ершова потянула носом.

Она привыкла к запахам больницы и знала их все. Гной пахнет по-разному в зависимости от возбудителя: стафилококковый — кисловато и резко, синегнойный — сладковато и тошнотворно. Некроз имеет свой запах, который невозможно описать точно, но который запоминается навсегда. Даже здоровая кожа пахнет — кисломолочном, тепло.

Жидкость из волдырей пахла сладко. Не приторно-гнилостно, как это иногда бывает при определённых инфекциях, а именно сладко — как перезрелая дыня, как арбузный сок на горячем асфальте, как что-то летнее и совершенно неуместное здесь, в этом белом коридоре под гудящими лампами. Запах был настолько неожиданным, что Ершова на секунду решила, что ошиблась. Потянула носом снова.

Нет. Дыня. Точно дыня, с лёгкой нотой чего-то травянистого — не растительного, а именно травянистого, как скошенная трава в жаркий день. И под этим — едва различимо — что-то медное, металлическое, как запах старых монет.

Она выпрямилась. Посмотрела на фельдшера скорой.

— Давно? — спросила она. Голос вышел ровным. Она была этому рада.

Фельдшер поднял взгляд от планшета. Молодой, лет двадцати пяти, с тёмными кругами под глазами. Ершова не знала его имени. Он переключил планшет в спящий режим — рефлексивно, как человек, у которого нет слов, но есть потребность что-то сделать руками.

— Час назад нашли. Примерно. Там пост ГИБДД у Бирюсинского моста — инспектор увидел, что кто-то идёт по обочине. Вызвал нас. Он брёл по дороге. Один. Бормотал что-то.

— Что именно?

— Инспектор говорит — про нити. Белые нити. Повторял это. Ещё что-то про воду, но неразборчиво.

— Откуда он?

Фельдшер посмотрел в планшет — разблокировал, нашёл нужное.

— Малая Ушаковка. Это деревня, километров шестьдесят на север от райцентра. Там дорога только грунтовая, после дождей почти непроходимая. Бригада работала на делянке, он значится за Усольлеспромом.

— Он сам шёл шестьдесят километров?

Фельдшер пожал плечами — медленно, устало, с видом человека, которому этот вопрос тоже не давал покоя.

— Не знаем. Может, его кто-то вёз часть пути. Может... не знаем.

Ершова снова посмотрела на Сомова. Его грудь поднималась и опускалась — неровно, с задержками, как у спящего, которому снится что-то тяжёлое. Руки лежали вдоль тела. Под ногтями — земля и что-то тёмное, похожее на смолу. Резиновые сапоги были мокрыми — не от дождя, дождя не было три дня, — а от росы или от реки.

Она взяла его запястье. Пульс был — слабый, нитевидный, но ритмичный. Температура кожи — горячая, значительно выше нормы. Она осторожно отодвинула ворот куртки: чёрные точки шли дальше по шее, исчезали под ключицей.

— Насколько далеко, — сказала она, не вопросительно, а констатируя. Надо было посмотреть под курткой, но она ждала перчаток.

— Зоя, — позвала она, не оборачиваясь. — Перчатки, маску, халат. И принеси набор для забора.

— Наталья Андреевна, — голос Зои был на полтона выше обычного. — Там ещё скорая. Только что по радио. Они везут двоих. Таких же.

Тишина в коридоре стала другой.

В этот момент Геннадий Сомов открыл глаза.

Ершова не отпрыгнула — она сделала шаг назад, быстрый и чёткий, и её рука сама нашла край каталки, чтобы удержать равновесие. Рядом кто-то вскрикнул. Маргарита Степановна что-то зашептала громче.

Глаза у Сомова были белыми.

Не закатившимися — не так, как при судорогах, когда видна только склера. Радужная оболочка оставалась на месте, зрачок был на месте, анатомически всё было правильно. Но цвет — в карточке значилось карие, тёмно-карие, почти чёрные, как у многих сибиряков с татарской кровью в роду, — цвет исчез. Радужка была белой. Совершенно белой, матово-белой, как залитой разведённым молоком или как глаз варёной рыбы. И в этой белизне — никакого зрачка. Ровное белое поле.

Он смотрел в потолок. Или в никуда. Или туда, куда смотрят, когда перестают видеть то, что видим мы.

Потом повернул голову.

Медленно — очень медленно, с усилием, как будто шея стала тяжёлой и чужой. Повернул так, что лицо оказалось обращено к Ершовой. И белые глаза нашли её — или нашли то место в пространстве, где она стояла. Невозможно было сказать, видит ли он её. Но голова остановилась точно.

Его губы разлепились.

Звук, который вышел из него, был странным. Не хрипом, не шёпотом, не стоном. Он шёл как будто не из горла — или из горла, но глубже, ниже, из диафрагмы, из живота, оттуда, где не должно быть голоса. Низкий, вибрирующий, с резонансом, которого у человеческого голоса не должно быть в замкнутом пространстве.

— Вирус, — сказал он. — Он идёт.

Ершова не пошевелилась. Она слушала.

— Пять тонн. — Пауза. Долгая, как будто каждое слово требовало отдельного усилия. — Авария.

Потом он закрыл глаза. Голова упала обратно — тяжело, безвольно. Грудь продолжала подниматься. Пульс на запястье, которое Ершова всё ещё держала, продолжал биться.

В коридоре была абсолютная тишина.

Потом Олег Примаков перекрестился. Медленно и по-настоящему — не жестом, а искренне, как человек, которому нужно что-то сделать с руками, пока голова пытается переварить то, что глаза только что видели.

— Наталья Андреевна. — Он сглотнул. — У нас ещё двое. Скорая подъезжает. Я слышал по рации.

Ершова положила запястье Сомова обратно на каталку. Аккуратно, как что-то хрупкое. Медленно выпрямилась — спина болела, сорок три года, шесть часов на ногах. Это было неважно. Она огляделась по сторонам: Зоя с перчатками и маской — вот она, правильно. Фельдшер скорой — у стены. Маргарита Степановна — у стены. Олег — у двери.

Все смотрели на неё. Как всегда, смотрят в момент, когда кто-то должен принять решение. Как будто в том, куда смотришь, есть ответы.

— Зоя, — сказала Ершова. Голос был ровным. — Набор для забора материала. Пробирки, четыре вирусных контейнера, мазки, перчатки двойные. Всё это — сейчас.

— Да.

— Олег — звони в СЭС. Не в городскую, сразу в область. Скажи дежурному: подозрение на неидентифицированную инфекцию, три случая, клиника нестандартная. Пусть записывают.

— А если они скажут, что сначала к городскому—

— Скажи, что я сказала звонить в область. — Она посмотрела на него прямо. — Ты понял?

— Понял.

— После СЭС — главврач. Симоненко, домой, на мобильный, неважно который час. Он поднимет трубку.

— Хорошо.

— Фельдшер. — Она обернулась к скорой. — Как вас зовут?

— Дима. Дмитрий Кравец.

— Дмитрий, вы не уходите. Мне нужен полный анамнез от инспектора ГИБДД, который его нашёл: как именно тот шёл, что именно говорил, в какую сторону шёл — навстречу машинам или по ходу движения. Позвоните ему сейчас, запишите всё. Это важно.

— Слушайте, у меня смена—

— Ваша смена важна. — Она не злилась. — Это важнее. Если вам нужна бумага, я напишу бумагу. Но сначала — звонок.

Кравец посмотрел на неё. Потом кивнул.

Ершова снова повернулась к Сомову. Надела перчатки — двойные, как сказала, — потянулась к молнии куртки.

— Маргарита Степановна, — сказала она через плечо.

— Да? — голос старшей санитарки был тихим, но устойчивым.

— Принесите мой старый халат. Из чулана, на третьей полке. Синий.

— Зачем он вам?

Ершова расстегнула куртку. Задержала дыхание на секунду, не потому что боялась, а потому что хотела увидеть правильно, без спешки.

Чёрные точки шли по груди Сомова — вниз по рёбрам, по животу, исчезали под поясом. Их было значительно больше, чем на лице. И они были крупнее. На груди — волдырь размером с ладонь, ещё не лопнувший, тугой, блестящий. По форме он напоминал что-то, что Ершова не могла сразу назвать, — округлое, с чёткими краями, слегка асимметричное. Как если бы под кожей росло что-то, что имело собственную форму.

Она не дрогнула. Она смотрела. Запоминала.

— Зачем халат? — повторила Маргарита Степановна.

— Потому что я не выйду из этой больницы, — сказала Ершова, — пока не пойму, что это.

Она сняла часы — швейцарские, с гравировкой, — и положила на подоконник. Стекло блеснуло в свете люминесцентной лампы. Часы легли тихо, аккуратно. Ершова не посмотрела на гравировку.

Не время.

Двое других пациентов прибыли в шесть сорок одну.

Первого — женщину лет тридцати пяти, которую Ершова позже узнает, как Светлану Коробову, бухгалтера того же Усольлеспрома, — привезла вторая бригада. У Коробовой чёрных точек было меньше, но расположены они были иначе: только на руках и шее, зато несколько из них уже вскрылись, и вместо сладкого запаха дыни Ершова уловила что-то другое — более острое, почти химическое, как запах свежего пластика или нагретой изоляции. Глаза у Коробовой были открыты и карими. Она была в сознании — точнее, в том состоянии, которое Ершова для себя пометила как изменённое: смотрела, реагировала на движение, но не на голос, и единственное, что повторяла, было не слово, а звук — долгое, вибрирующее мм-мм-мм, ритмичное, почти музыкальное.

Второй — мужчина не установленного возраста, без документов, в рабочей одежде без маркировки, — был без сознания. Его привезли третьей бригадой, которую вызвали жители

посёлка Новомихайловский: мужчина лежал у автобусной остановки, не реагировал. У него была только одна чёрная точка — огромная, на левом предплечье, с волдырём диаметром в два детских кулака — и температура сорок один и два.

Ершова работала. Она собирала образцы, заполняла направления, думала о том, что в лаборатории сейчас спросят, какой возбудитель искать, а она не будет знать ответа, и это будет неудобный разговор. Она думала о протоколах изоляции, которые надо было ввести немедленно, — о том, что корпус маленький, что боксов хватит на четверых максимум, и если придет ещё кто-то, придётся принимать решение о перепрофилировании. Она думала о звонке в Роспотребнадзор, который Олег уже сделал, и о том, что там сейчас не шесть сорок пять утра, а шесть сорок пять утра пятницы, и дежурный будет зевать.

Но в промежутках — между пробиркой и мазком, между вопросом фельдшеру и записью в карту — она возвращалась к словам Сомова.

Пять тонн. Авария.

Что это значит — она не знала. Пока не знала.

Он идёт.

Она выкатила каталку с Сомовым в бокс номер два, закрыла дверь, приложила листок с его именем к стеклу. Потом вернулась в коридор и посмотрела в окно. Берёзы за стеклом стояли серые от дыма — не белые, как положено берёзам, а серые, как будто их покрасили. Небо над Иркутском из коричневого стало оранжевым: рассвет в смоге выглядел как что-то взятое из фантастического романа, из того вида, который снимают для обложки и называют атмосферным.

Горела тайга под Усольем. Горела третью неделю.

Ершова постояла у окна тридцать секунд — ровно столько, чтобы мозг успел зафиксировать: вот минута покоя, воспользуйся ею. Потом отвернулась.

Малая Ушаковка. Шестьдесят километров к северу. Грунтовая дорога, непроходимая после дождей. Лесозаготовительная бригада. Один пришёл пешком. Двое приехали — но откуда? Кто их вёз? Есть ли в деревне ещё люди с теми же симптомами? Есть ли вообще в деревне люди?

Это были правильные вопросы. Пока у неё не было ни одного ответа.

— Наталья Андреевна. — Голос Олега из-за спины. — СЭС перезвонили. Говорят, пришлют эпидемиолога к десяти.

— К десяти.

— Да.

— Хорошо. — Она развернулась. — А Симоненко?

— Ругался. Но едет. — Пауза. — Он сказал, что вы паникуете.

Ершова подняла взгляд на Олега. Мальчик стоял прямо, но в плечах — напряжение, которое бывает, когда передаёшь чужие слова и не знаешь, как на них отреагируют. Она не стала его мучить.

— Симоненко скажет мне это лично, когда приедет, — сказала она. — А ты пока найди мне карту района. Бумажную, из кабинета географии, если есть, или распечатай с компьютера. Мне нужно видеть, где именно находится Малая Ушаковка и что у неё вокруг.

— Карту района?

— Реки, дороги, предприятия. Особенно — промышленные объекты. Всё, что есть в шестидесяти километрах к северу.

Олег ушёл. Ершова вернулась в ординаторскую.

Комната была маленькой, как всегда, и душной, как последние три недели. На столе — её записи, стакан с тёплой водой, чья-то забытая упаковка ибупрофена. Она открыла ноутбук. Интернет в больнице работал через раз, и сейчас был, судя по индикатору, один из удачных разов. Ершова открыла базу ВОЗ по инфекционным заболеваниям, потом Роспотребнадзор, потом несколько закрытых форумов, на которых инфекционисты со всей страны обменивались случаями из практики. Она искала то, что видела: чёрные точки, волдыри с зеленоватой лимфой, белая радужка, изменённое сознание, сладкий запах экссудата.

Ничего. Ни одного совпадения. Ни одной похожей вспышки — ни в России, ни за рубежом. Ни в архивах, ни в актуальных сводках.

Это само по себе было информацией.

Она записала в блокнот — бумажный, синяя ручка, почерк мелкий и разборчивый, как у всех, кто вырос в эпоху до клавиатур: Неизвестный возбудитель. Или известный — с нестандартной манифестацией. Или — не инфекционной природы вообще?

Она остановилась на этой строчке. Перечитала.

Не инфекционной природы.

Что ещё может давать такую картину? Химическое отравление — но тогда бы не было волдырей с живой лимфой, была бы другая клиника. Радиационное поражение — нет, неправильно распределено, неправильная стадийность. Токсин? Биологический токсин, выработанный каким-то организмом — грибом, бактерией, но не как инфекция, а как отравление?

Она написала: Пять тонн. Авария.

Посмотрела на слова. Написала под ними: Что перевозят в тайге в пяти тоннах?

Лесоматериалы — но это не катастрофа. Горюче-смазочные материалы — возможно, но клиника не похожа на нефтепродукты. Химические реагенты для лесной промышленности —

отбеливатели, кислоты, консерванты — это уже ближе. Или что-то, что везут не для лесной промышленности, а через лес, потому что дорога дешевле или потому что её меньше проверяют.

Она закрыла глаза на три секунды. Открыла. Написала последнее слово в этом коротком списке соображений и обвела его:

Откуда они шли? Куда?

Симоненко приехал в семь двадцать. Он жил недалеко — в том же районе, что и больница, и, судя по состоянию его костюма, оделся быстро. Валентин Игоревич Симоненко было шестьдесят лет, из которых двадцать два он руководил Красным Крестом с переменным успехом, двумя проверками прокуратуры и одной благодарственной грамотой от Министерства здравоохранения, которую он повесил в приёмной на видное место. Он был невысоким, коренастым, с седыми висками и привычкой смотреть поверх голов собеседников, когда не хотел видеть их лица.

Сейчас он смотрел прямо на Ершову. Это было плохим знаком.

— Наталья Андреевна, — сказал он, — я вас слушаю.

Они стояли в коридоре у бокса номер два. За стеклом был виден Сомов — неподвижный, с капельницей, которую Ершова поставила для поддерживающей терапии. Симоненко посмотрел через стекло. Посмотрел долго.

— Три случая, — сказала Ершова. — Все из одного района. Клиника нетипичная для любого известного мне возбудителя. У двух из трёх — неврологическая симптоматика, у одного — изменение глазных яблок, у всех — специфические кожные проявления. Образцы уже в лаборатории.

— Лаборатория даст результат завтра в лучшем случае.

— Знаю.

— Что вы хотите от меня?

— Карантин по корпусу. Немедленно. Пациентов из общих палат — перевести или выписать тех, кто может быть выписан. Персонал — средства защиты третьего уровня, пока мы не знаем способ передачи. И — мне нужна связь с кем-то, кто знает, что происходит в Малой Ушаковке.

Симоненко молчал.

— Валентин Игоревич, — сказала Ершова ровно, — Олег сказал, что вы думаете, что я паникую.

— Я так не говорил.

— Он сказал именно это.

Пауза.

— Я сказал, что, возможно, это что-то известное, и утром всё окажется проще. — Симоненко снял очки, протёр стёкла. — Ершова, если мы объявим карантин без оснований—

— Если мы не объявим карантин, а у нас вспышка неизвестной инфекции, — перебила она, — то к вечеру у нас будет не три случая. Я не знаю, сколько их будет. Вот в этом и состоит проблема.

Симоненко надел очки обратно. Снова посмотрел через стекло на Сомова. Сомов не двигался.

— Хорошо, — сказал главврач. Голос у него стал другим — тем, который появлялся, когда он принимал решения, а не откладывал их. — Карантин по корпусу. Но тихий — никаких объявлений на весь город, пока нет подтверждения. Мне не нужна паника.

— Мне тоже.

— Средства защиты — выдам распоряжение Зое. — Он помолчал. — Связь с Малой Ушаковкой — попробуйте через районную администрацию. Там есть Громов, глава — мы знакомы. Я позвоню.

— Спасибо.

Симоненко уже разворачивался, но остановился.

— Ершова. — Он не обернулся. — Вы сами как?

Вопрос был неожиданным. Она не сразу нашла ответ.

— Работаю, — сказала она.

Он кивнул и пошёл по коридору — тяжёлой, немного шаркающей походкой человека, у которого болят суставы, но который не говорит об этом.

Олег принёс карту в восемь пятнадцать.

Распечатанную с компьютера, на двух листах А4, склеенных скотчем. Топографическая, с горизонталями, мелкий масштаб. Ершова разложила её на столе в ординаторской и нашла Малую Ушаковку — маленький квадратик у изгиба реки Ушаковки, окружённый зеленью тайги.

Она начала смотреть по сторонам от него. Методично, по кругу, расширяя радиус.

К западу — ничего, тайга и просеки. К югу — грунтовая дорога, потом трасса, потом Иркутск. К востоку — ещё одна деревня, Верхний Ключ, и дальше гора с отметкой. К северу—

Она остановила взгляд.

К северу от Малой Ушаковки, примерно в двадцати километрах, карта показывала объект с промышленным обозначением. Маленький значок — прямоугольник с косой штриховкой. Рядом — цифры и аббревиатура: ОЭЗ-7. Хранилище.

Ершова знала, что такое аббревиатура ОЭЗ. Она не хотела знать, что означает цифра семь.

Она откинулась на спинку стула. Посмотрела в потолок. Там была трещина — старая, давно покрашенная, но видимая, если знать, где смотреть. Она её знала: сидела под ней тысячи раз за двадцать лет.

Пять тонн. Авария.

Особая экономическая зона — нет, в этом контексте аббревиатура значила другое. Объект экологической защиты? Нет. Она знала правильную расшифровку, слышала её однажды, давно, от мужа Андрея, который работал в Министерстве природных ресурсов и иногда говорил вещи, которые, как она понимала позже, говорить не стоило.

Объект экстремальной защиты.

Она взяла телефон. Набрала номер, который знала наизусть — не потому, что часто звонила, а потому что некоторые номера запоминаются сами, от важности.

Трубку взяли на третьем гудке.

— Алло? — сонный голос, мужской, недовольный.

— Константин Александрович, — сказала Ершова. — Это Ершова. Наталья Андреевна. Инфекционный корпус Красного Креста.

— Наташа? — голос сразу проснулся. Константин Александрович Дерябин, главный эпидемиолог области, знал её двадцать лет. Они вместе работали в ковидный год, и это был тот опыт, который либо разрушает профессиональные отношения, либо строит их из чего-то очень прочного. — Ты понимаешь, который час?

— Понимаю. — Она посмотрела на часы — не свои, настенные. Восемь двадцать два. — Константин Александрович, у меня три случая. Неизвестная клиника. Все из района Малой Ушаковки. Мне нужно, чтобы вы приехали раньше десяти.

Тишина. Короткая — секунды три.

— Насколько нетипичная клиника?

— Я двадцать лет в инфекционных, — сказала она. — Я не видела ничего похожего ни разу.

Ещё тишина. Потом — звук: Дерябин встаёт с постели, его голос меняет расстояние от микрофона.

— Буду через сорок минут. — Пауза. — Ершова.

— Да?

— Ты сама защищена?

Она посмотрела на свои руки. Двойные перчатки, маска, халат — тот самый, синий, из чулана, плотный, старого советского кроя, с завязками у ворота. Не полная защита. Не третий уровень. Но она работала с пациентами уже два часа.

— Работаю над этим, — сказала она.

Она положила трубку. Посмотрела на карту. На значок к северу от Малой Ушаковки.

За окном Иркутск разгорался в оранжевом смоге. Где-то в тайге горели деревья. Геннадий Сомов лежал в боксе номер два и дышал — неровно, с усилием, но дышал. Его белые глаза были закрыты.

Ершова взяла ручку. Поставила на карте точку — туда, где был значок хранилища. Обвела кружком. Провела линию на юг — к Малой Ушаковке. Ещё линию — дальше, к Иркутску.

Линия получилась прямой. Как траектория.

Она смотрела на неё долго. Потом написала рядом одно слово — тихо, как будто боялась, что кто-то услышит, хотя в комнате она была одна, и ручка не издавала звуков громче шёпота:

Откуда.

И ниже, с новой строки, другое:

Что.

И совсем внизу, последнее, которое она подчеркнула дважды:

Сколько ещё там.

За стеной, в коридоре, загудел лифт. Это везли ещё кого-то. Ершова слышала голоса — новая бригада скорой, незнакомый фельдшер, слова Верхний Ключ и нашли у реки.

Верхний Ключ. Соседняя деревня. Она только что видела её на карте.

Ершова встала. Заправила бланки в карман халата. Взяла ещё одну пару перчаток — на случай, если порвёт. Посмотрела на часы, лежавшие на подоконнике, — не стала надевать, оставила. Андрей подарил их, когда она защитила диссертацию, и на задней крышке было выгравировано: Ты видишь то, что другие боятся увидеть. Она не носила их на дежурствах — боялась потерять.

Сегодня она положила их на подоконник, потому что боялась другого.

Боялась, что будет смотреть на время, когда нужно смотреть на людей.

Она вышла в коридор.

В восемь сорок семь в приёмное поступил четвёртый пациент — женщина из Верхнего Ключа, без сознания, с единственным симптомом из тех, что Ершова уже видела: запах. Сладкий, дынный, почти невыносимый — вся одежда на ней пропиталась им насквозь, как будто она лежала в этом запахе несколько дней. Кожа была чистой — ни единой точки. Температура тридцать шесть и восемь. Идеальная.

Это было страшнее всего остального.

Потому что если симптомы могут выглядеть вот так — как полное отсутствие симптомов, — то Ершова понятия не имела, сколько таких пациентов уже ходит по городу, дышит, разговаривает, едет в автобусе, стоит у кассы в магазине.

Она остановилась у каталки. Посмотрела на женщину. Сорок лет, светлые волосы, мозолистые руки — работница, не офисная. Лицо спокойное, как у спящего.

Он идёт, сказал Сомов.

Ершова сняла с доски маркер и подошла к белой стене у сестринского поста — той, куда обычно вешали расписание дежурств. Написала крупно, так чтобы видно было с трёх метров:

ПРОТОКОЛ ИЗОЛЯЦИИ. УРОВЕНЬ 2. С 08:47 12.07.

Под этим — список: кто в каком боксе, кто наблюдает, кто не входит без средств защиты.

Маркер пах. Обычно она этого не замечала.

Сейчас она заметила — резкий, химический, живой запах. Совсем не похожий на дыню.

Она была благодарна этому несходству.

Она написала последний пункт в списке, отвернулась и пошла к боксу номер два — проверить Сомова перед приездом Дерябина. За окном в конце коридора оранжевое небо начало светлеть — не потому, что дым рассеивался, а потому что солнце поднималось выше и становилось сильнее дыма, хотя бы на время, хотя бы на несколько часов.

Где-то в тайге, в двадцати километрах к северу от Малой Ушаковки, у реки, у грунтовой дороги, у хранилища с косой штриховкой на карте — что-то происходило.

Ершова не знала что. Ещё не знала.

Но она уже шла навстречу этому знанию — туда, где оно лежало за стеклом бокса номер два, за белыми глазами Геннадия Сомова, за словами, которые он произнёс голосом из глубины живота, — и она не собиралась останавливаться.

Часы остались на подоконнике.

Время шло само по себе.

Глава 2. Нити реальности

К утру второго дня в реанимации лежали шестеро.

Ершова знала это, не заходя в палату. Она знала это по звуку — по тому, как изменился ритм аппаратов ИВЛ за стеклянной перегородкой, по тому, как ходили медсёстры — быстро, но без суеты, той особой быстротой, которая означает: мы уже не спасаем, мы поддерживаем, мы тянем время. По тому, как пах воздух в коридоре реанимации — дезинфектантом поверх чего-то сладкого, что никакой дезинфектант не перебивал полностью.

Дынный запах стал привычным. Это само по себе было нехорошим знаком.

Трое из Малой Ушаковки — Сомов, и двое других, которых привезли следом: пожилой мужчина по фамилии Хмелёв, бывший лесник, и молодая женщина лет двадцати восьми, Полина Реутова, жена бригадира, приехавшая к мужу на вахту два дня назад. Двое из соседнего лесничества — их привезли вчера вечером, под семь часов: мужчина средних лет с татуировкой якоря на предплечье и подросток лет шестнадцати, сын лесника, которого отец привёз с собой на летние каникулы. И шестой — дальнобойщик.

Дальнобойщик был особым случаем. Его звали Руслан Гайнуллин, сорок один год, Казань, работал на фуре Газпром-нефтехим, маршрут Иркутск — Братск. Три дня назад, по словам диспетчера компании, с которым Ершова разговаривала по телефону полчаса назад, Гайнуллин сделал незапланированную остановку у Малой Ушаковки — сам объяснил как технические причины. Что именно случилось с фурой, диспетчер не знал. Гайнуллин пробыл в деревне около четырёх часов, потом продолжил маршрут. В Братск не доехал: его нашли на обочине трассы в ста двадцати километрах от Иркутска, без сознания, с первыми точками на шее.

Четыре часа в деревне. Этого хватило.

Ершова смотрела на него через стекло. Аппарат дышал за него ровно и безразлично. Его лицо — крупное, скуластое, с татуировкой волка за ухом — было обращено в потолок, и радужки под полуприкрытыми веками уже начинали белеть: не полностью ещё, не так, как у Сомова, — по краям, как молоко, разливающееся по тёмной воде.

Она смотрела на это и думала: в Братске его ждали. Где-то — жена, дети. И в Казани — кто-то ещё. И по дороге — сколько остановок? Заправка, кафе, туалет на трассе. Сколько людей, которым он подавал руку, которым дышал в лицо?

Она ещё не знала способа передачи. Это было самым страшным.

Кофе в пластиковом стакане остыл.

Она не помнила, когда налила его. Наверное, часа три назад — в промежутке между разговором с Дерябиным и разговором с лабораторией. Дерябин приехал в девять утра, как и обещал, посмотрел на пациентов, посмотрел на образцы, посмотрел на Ершову и сказал: Наташа, это нехорошо. Это был человек, который умел формулировать точно.

Лаборатория перезвонила в час дня — предварительные результаты. Бактериальный посев: ничего стандартного. ПЦР на основные вирусные агенты: отрицательно по всем панелям. Клинический анализ крови: лейкоцитоз умеренный, СОЭ в норме, что само по себе было противоречием — при такой клинике воспалительный ответ должен был бить в потолок, но он был почти незаметен. Как будто иммунная система не реагировала. Как будто не видела угрозы.

Или как будто угроза была чем-то, на что иммунная система не была рассчитана.

Биохимия дала странное: в плазме всех шести пациентов — повышенный уровень соединений, которые лаборант Рожков описал как полисахаридные комплексы неизвестной структуры и добавил голосом человека, которому очень неудобно это говорить: Наталья Андреевна, мы такого не видели. Это не из наших баз данных. Хорошая лаборатория. Областная. Современное оборудование — относительно. Двадцать лет опыта у Рожкова.

Не из баз данных.

Она записала это слово в блокнот. Обвела. Поставила рядом знак вопроса, потом зачеркнула его — вопросы в блокноте создавали иллюзию незнания. Ей было важно думать о том, что она знает, а не о том, чего не знает. Иначе незнание становилось стеной.

Тридцать шесть часов без сна.

Нет. Тридцать семь — она посмотрела на настенные часы в ординаторской. Без двадцати девяти вечера. На улице темно — летнее сибирское темно, медленно, нехотя, сквозь дым: не чернота, а темно-оранжевое марево, в котором фонари горели без теней.

Она сидела за столом, согнувшись над бланками, и пыталась выстроить в голове временную шкалу. Первые симптомы у Сомова — по словам его жены, с которой наконец удалось поговорить, — появились четыре дня назад. Сначала она думала, что он простудился: вялый, не ел, жаловался на зуд. Потом увидела точки, и он уже не мог объяснить, что с ним происходит. Потом ушёл — просто встал посреди ночи и ушёл, и она не слышала, как. Она проснулась от того, что хлопнула дверь.

Зуд. Это слово Ершова подчеркнула дважды. Зуд был до появления точек. Что это значило?

Она открыла рот, чтобы сказать что-то вслух — такая привычка, думать голосом в пустой комнате, Андрей всегда смеялся над ней из-за этого, — и не сказала ничего, потому что дверь открылась.

Вячеслав Борисович Тарасенко был заведующим инфекционным отделением уже восемнадцать лет — дольше, чем Ершова работала в этой больнице. Ему было шестьдесят два, и он выглядел именно на шестьдесят два: крупный, грузный, с руками хирурга — хотя никогда не

был хирургом, — с манерой говорить медленно и смотреть в сторону, пока не скажет самое важное. Ершова уважала его за то, что он никогда не делал вид, что знает больше, чем знает.

Сейчас он вошёл тяжело. Опустился на стул рядом с ней не с коллегиальной лёгкостью, а с тем усилием, которое делает человек, у которого ноги держат, но едва. На столе перед ним появилась папка.

Серая. Плотный советский картон, выцветший до цвета пыли. На обложке — гриф, когда-то красный, теперь розовый: **СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО**. И ниже, машинописью: Арх. № 441-ИО. Хранить постоянно.

Он не сказал ничего. Просто положил.

Ершова смотрела на папку три секунды, потом взяла её обеими руками — осторожно, как что-то хрупкое, — и открыла.

Бумаги крошились по краям — не сильно, но заметно, как сухие листья. Запах старой бумаги и чего-то ещё: графита, старых чернил, и слабо, почти вообразимо — того же сладкого, что шло из реанимации. Она знала, что это невозможно, что это её нос обманывает её после тридцати семи часов без сна. Знала — и всё равно потянула носом.

Машинопись. Буква ё вбита отдельно, с заметным усилием — характерная черта советских машинок, у которых не было ё в стандартной раскладке, и машинистка добила её вручную поверх е с твёрдым знаком. Текст плотный, без полей почти, как будто бумагу берегли.

Акт № 17-К от 14 сентября 1981 г.

О вспышке неустановленного заболевания на территории участка Малая Ушаковка Усольского района Иркутской области.

Составлен: комиссией в составе пяти человек, список прилагается.

Гриф: совершенно секретно. Снятие грифа — запрещено.

Она читала медленно. Не потому, что слова были сложными. Потому что хотела ничего не пропустить.

Клиническая картина 1981 года разворачивалась со страниц с безжалостной точностью протокола, написанного людьми, которые понимали, что описывают нечто важное, но ещё не понимали, что именно. Первый этап — папулёзная сыпь тёмного, вплоть до чёрного, цвета. Второй этап — изменение пигментации радужной оболочки, снижение остроты зрения до полной амавроза. Третий этап — судорожный синдром, галлюцинаторные состояния, дезориентация. Четвёртый — смерть.

Тридцать жителей. Двадцать четыре погибших. Шесть выживших.

Среднее время от первых симптомов до смерти: сорок семь — сорок девять часов.

Ершова остановилась.

Перечитала.

Сорок семь — сорок девять часов.

Она положила страницу на стол. Взяла свой блокнот, нашла запись, сделанную сегодня утром — собственную, по данным шести текущих пациентов. Среднее время от первых симптомов до комы: сорок три часа. Среднее прогнозируемое время до смерти при текущей динамике: плюс пять-шесть часов. Итого: сорок восемь — сорок девять.

Сорок лет прошло. Болезнь не изменилась.

Это означало, что возбудитель — если это возбудитель — был либо идеально стабилен, либо существовал в условиях, которые не давали ему эволюционировать. Или — и эта мысль пришла к ней спокойно, без паники, как математический вывод — то, с чем она имела дело, не было живым в обычном смысле слова. Вирусы мутируют. Бактерии мутируют. Прионы — нет.

Она вернулась к тексту.

Последний абзац акта был отбит от основного текста пустой строкой — намеренно, как будто составители сами чувствовали, что это другое. Не клиника, не эпидемиология. Решение.

Этиологический агент не идентифицирован. Предположительно — прионная инфекция неизвестной природы либо биологический токсин органического происхождения. Ввиду высокой контагиозности, летальности 100% при отсутствии специализированной помощи и невозможности идентификации источника принято решение о проведении полной санитарной обработки территории методом термического воздействия. Населённый пункт Малая Ушаковка подлежит уничтожению. Оставшиеся в живых жители эвакуированы для последующей изоляции.

Ершова дочитала до конца. Закрыла страницу. Посмотрела на Тарасенко.

— Они сожгли деревню, — сказала она.

Он кивнул.

— Но шесть человек выжили.

— Да.

— Как могли сжечь деревню, если шесть человек выжили? — она не спрашивала с возмущением. Она спрашивала методически, потому что это было противоречие, а противоречия нужно было разрешать. — Где они? Что с ними стало?

Тарасенко не ответил. Это само по себе было ответом.

Она снова открыла папку. Перелистала страницы дальше — там были таблицы, которые она пробежала глазами, фамилии, цифры. Искала что-нибудь о выживших. Нашла только одну строчку в конце сводной таблицы: 6 чел. — эвакуированы. Место изоляции: объект ВД-2.

И больше ничего. Ни дат, ни имён в этом контексте, ни дальнейшей судьбы.

Она перелистнула ещё. За последней страницей акта был ещё один лист — тонкий, почти полупрозрачный, как кальке. Ершова взяла его двумя пальцами, аккуратно. Развернула.

Схема. Нарисованная от руки, карандашом, с линейкой — прямые линии, точные углы. Подписи — тем же химическим карандашом, мелко. Ершова поднесла ближе к свету.

Прямоугольники и коридоры. Уровни — обозначены римскими цифрами: I, II, III. Уровень III уходил глубже всего — там были маленькие прямоугольники с подписями: камера хранения А, камера хранения Б, система охлаждения — контур 1, контур 2. Стрелки показывали направления вентиляции. Слева внизу — штамп, наполовину смазанный: Объект ВД-2. Нижний уровень. Схема вентиляции и хранения.

И приписка. Другим почерком, химическим карандашом, явно позже — буквы крупнее, небрежнее, с нажимом. Ершова разобрала её не сразу:

Штамп сохраняет жизнеспособность при -18°C неограниченный срок. К стандартным методам утилизации не чувствителен. Распространение — предположительно аэрозольное и/или контактное. Носитель — возможен. Инкубация — 72-96 часов до первых симптомов.

Ершова медленно положила лист на стол.

Сидела. Смотрела на него.

Носитель — возможен.

Это слово она знала. Каждый инфекционист знал его. Носитель — человек, который несёт возбудитель, передаёт его другим, но сам не болеет. Или болеет, но мягко. Или болеет с задержкой, пока передаёт, передаёт, передаёт.

Инкубация — 72-96 часов.

Гайнуллин был в деревне три дня назад. Трое суток назад. Это укладывалось. Это идеально укладывалось.

И если он передавал по пути — по дороге, на заправке, в кафе на трассе, — то там сейчас тоже тикало что-то, невидимое и сладко пахнущее, с семидесятидвухчасовым фитилём.

Она подняла взгляд на Тарасенко.

— Слава, — сказала она тихо. — Ты знал об этом документе?

Он долго молчал. Не виновато — просто молчал, как человек, который выбирает, как именно ответить на вопрос, который задан правильно.

— Я слышал, — сказал он наконец. — В восемьдесят девятом, когда пришёл сюда работать. Старый Краснов — он был заведующим до меня — он однажды выпил лишнего и рассказал. Про деревню, про огонь. Я думал, что это... ну. Ты знаешь, как бывает с историями. Они растут. Становятся больше, чем были.

— А папка?

— Я нашёл её в архиве случайно. Когда наводили порядок в двухтысячных, перед проверкой. — Он посмотрел в окно. — Хотел уничтожить. Протокол велел уничтожить — срок хранения истёк. Но я.. не смог. Не знаю почему. Оставил.

— Хорошо, что оставил.

— Хорошо ли?

Она не ответила на это. Вместо этого — положила ладонь на схему, не закрывая её, просто как точка в пространстве:

— Что такое объект ВД-2?

Тарасенко снова помолчал — долго, дольше, чем раньше.

— По слухам, — сказал он осторожно, как будто взвешивал каждое слово на весах, которых нет в природе, но которые он чувствовал, — там, к северу от Малой Ушаковки, в советское время был склад. Биологического... материала. Не оружие официально. Никогда не называлось оружием. Но — материал, который остался от определённых исследований. Когда СССР закончился, склад законсервировали.

— Законсервировали.

— Так мне рассказывали.

— Кто?

— Краснов. И ещё один человек — из областного управления, давно, я уже не помню имени. — Тарасенко поднял взгляд, и Ершова увидела в нём не страх, а что-то хуже страха: усталость человека, который давно знал, что этот разговор будет, и давно не хотел, чтобы он был. — Наташа. Там, под больницей, есть подвал. Старый. Опечатан с восемьдесят пятого года. Официальная причина — радиационное загрязнение. Ртуть. Прионы. Говорили разное.

Ершова встала.

— Ты думаешь, там что-то есть.

— Я думаю, — медленно сказал он, — что здание это построено в пятьдесят третьем году. И что в пятьдесят третьем году строили по определённым стандартам. И что в некоторых таких зданиях были... помещения. Для определённых целей.

Он не смотрел на неё. Смотрел в окно — на улицу Марата внизу, на троллейбус, который в этот момент проплывал мимо больничных ворот, медленный, тяжёлый, полный людей, которые ехали домой после рабочего дня и не знали ничего про сладкий запах и белые радужки и сорок девять часов.

Ершова смотрела на него. Потом сказала:

— Слава. Ты знал, что там внизу. Не слухи. Знал.

Он не ответил. Но его руки на коленях сжались — едва заметно, но она заметила.

— Ладно, — сказала она. Не обвиняя. Просто принимая к сведению. — Мне нужен ключ. Или инструмент, если замок старый.

Тарасенко схватил её за руку.

Неожиданно. Быстро для человека его комплекции — рывком, как будто рефлекс опередил решение. Его пальцы были сильными.

— Не надо, Наташа.

Она посмотрела на его руку. Потом на его лицо.

— У меня шестеро умирают, — сказала она. Ровно. Без повышения голоса. — Через тридцать с небольшим часов их не будет. Ни одного. И я не знаю, сколько людей они уже заразили по дороге сюда, потому что я не знаю способ передачи и не знаю инкубацию наверняка. — Она кивнула на схему. — Там написано семьдесят два часа. Это значит, что кто-то уже ходит по городу с этим внутри и не знает об этом. А если там, внизу, есть что-нибудь — любая запись, любой образец, любая зацепка — то она нужна мне сейчас. Не завтра.

Тарасенко смотрел на неё. Долго. С тем выражением, которое она не умела классифицировать: не страх, не уважение, не согласие, а что-то составное из всего этого и ещё чего-то, для чего у неё не было слова.

Он отпустил её руку.

Медленно. Как будто отпускал что-то большее, чем запястье.

— Не надо, — повторил он. Тихо. — Но я понимаю, что ты пойдёшь.

— Да.

Он встал. Подошёл к шкафу в углу — старому, металлическому, с крашеными облупившимися боками, — открыл нижний ящик. Покопался. Вытащил связку ключей — тяжёлую, советскую, на большом кольце с красной пластиковой меткой, выцветшей до розового. На метке что-то было написано — Ершова разобрала только первые буквы: Тех. пом.

Он положил ключи на стол рядом со схемой. Не подал ей в руки — положил. Как будто хотел, чтобы она взяла сама, без его участия.

— Второй ключ на кольце, — сказал он. — Он подходит к двери в конце технического коридора. За котельной. Там лестница вниз.

— Ты был там?

— Один раз. Давно. — Он сел обратно на стул, тяжело. — Там темно и холодно. Возьми фонарь. У Олега есть налобный — он ходит с ним в котельную, когда меняет лампочки.

— Хорошо.

— И перчатки. Двойные. И маску. Не снимай маску ни при каких обстоятельствах.

— Знаю.

— Наташа. — Он снова посмотрел в окно. Троллейбус уже уехал. На улице Марата горели фонари — рыжие в дыму, почти красные. — Там написано, что штатм к утилизации не под-
даётся. Это значит, что, если он там есть — он там живой. Сорок лет. Живой.

Ершова взяла ключи.

— Я знаю, что это значит, — сказала она.

Она нашла Олега у сестринского поста. Взяла у него налобный фонарик, объяснила что-то про котельную и сгоревшую лампочку — он не поверил, она видела по его лицу, но он дал фонарик и не спросил. Хороший мальчик.

Она надела второй халат поверх первого — плотный, синий. Двойные перчатки. Плотную маску — не хирургическую, а респиратор FFP3, последний из запаса, который она заказала ещё в начале лета, когда читала про вспышки в Китае и решила, что лучше иметь. Очки. Сменные бахилы поверх обуви.

В зеркале туалета — на секунду, мимоходом — она увидела себя: белое, жёсткое лицо, круги под глазами глубиной в сутки без сна, волосы стянуты так туго, что виски болели. Она не остановилась. Зеркала были не для этого момента.

Технический коридор шёл за котельной — низкий, неширокий, с трубами по потолку и кабелями вдоль стен. Запах здесь был другим: сырость, металл, отопительный мазут. Нормальный подвальный запах. Она включила фонарь.

Коридор тянулся метров двадцать. В конце — дверь.

Она остановилась перед ней.

Металлическая, крашеная зелёным. Краска облупилась. Три петли — тяжёлые, советские. Замок: цилиндрический, старый, с замочной скважиной, в которой было темно. И поперёк двери — бумажная полоса, когда-то красная, теперь выцветшая до розового, с печатью и машинописным текстом: Опечатано. Вскрытие запрещено. Ответственный: нач. сан. службы ИО.

Под текстом — дата: 17.04.1985.

Сорок один год.

Ершова взяла второй ключ на кольцо. Вставила в замочную скважину. Замок был старый — она ожидала сопротивления, ожидала ржавчины. Но он повернулся. Легко. Почти без усилия.

Кто-то смазывал этот замок.

Она остановилась с ключом в руке. Подумала об этом. Подумала о том, что Тарасенко сказал один раз, давно. Подумала о том, что он взял ключи из ящика, не глядя — знал, где лежат.

Потом открыла дверь.

Холод ударил сразу — настоящий, плотный, не подвальная прохлада, а целенаправленный холод работающей системы охлаждения. Минус восемнадцать, вспомнила она слова из приписки. Штамм сохраняет жизнеспособность при -18°C .

Значит, система работала. Кто-то её обслуживал. Сорок лет.

Она сделала шаг вниз. Лестница была бетонной, с металлическими перилами, холодными под перчаткой. Фонарь вырывал из темноты куски: ступени, стена, ещё ступени. Двенадцать ступеней. Потом площадка. Потом ещё девять.

Нижний уровень был маленьким. Меньше, чем она ожидала по схеме, — или схема была не точной, или часть коридоров была замурована. Помещение, в которое она вошла, было метров пятнадцать на восемь. Потолок — низкий, с трубами охлаждения вдоль него: они покрылись инеем, и в свете фонаря это выглядело почти красиво — белое на белом, кристаллы льда на трубах, как зимний лес в миниатюре.

Она повела фонарём по периметру.

Слева — металлические стеллажи, пустые. Не совсем пустые: на нижней полке лежали папки — такие же серые, как та, что принёс Тарасенко, только их было много. Десятки. Ершова подошла, взяла первую. Открыла. Те же машинописные страницы, та же буква ё вбитая отдельно. Она пробежала глазами: протоколы, таблицы, фамилии. Серия опытов № 3. Штамм ВД. Характеристики роста при различных температурных режимах.

Справа — дверь. Ещё одна. Поменьше, без замка, только засов. Она подошла, отодвинула засов, потянула.

Камера хранения А.

Размером с большой шкаф. Вдоль стен — полки, металлические, с криогенными контейнерами. Цилиндрические, алюминиевые, с крышками на защёлках. На каждом — бумажная этикетка в прозрачном кармашке. Ершова поднесла фонарь к первому.

Этикетка: Штамм ВД-7/81. Концентрация: 10^8 КОЕ/мл. Дата закладки: 23.10.1981. Ответственный: нрзб.

Рядом — второй контейнер. Штамм ВД-7/81. Серия 2.

Третий. Четвёртый. Пятый.

Она насчитала двадцать два контейнера на левой полке. Потом посмотрела на правую. Там их было больше.

Потом посмотрела на пол.

На полу, в углу, стоял один контейнер. Отдельно от остальных. Его крышка была не закрыта — она лежала рядом, на боку, как будто упала или была снята. Изнутри шёл слабый пар — холодный, почти невидимый, — и Ершова, прежде чем приблизиться, остановила себя. Заставила сначала подумать.

Открытый контейнер. Пар. Содержимое не заморожено или разморозилось.

Она подошла. Медленно. Наклонилась, не касаясь.

Контейнер был пуст.

Нет — не совсем. На дне — следы. Тёмные разводы, как от высохшей жидкости. И запах. Слабый — очень слабый, почти ничего, потому что холод придавливал молекулы к поверхности, — но она узнала его немедленно, как узнают голос человека, которого знают давно.

Сладкое. Дынное. С медной ноткой внизу.

Она выпрямилась. Посмотрела на крышку на полу. Потом снова на пустой контейнер. Потом — медленно, методично — осмотрела весь пол камеры в луче фонаря.

Следы. Маленькие, почти незаметные на бетоне. Но в свете фонаря, под углом — видимые. Подошвы обуви. Кто-то ходил здесь. Не давно и не вчера — недавно, потому что в камере не было пыли, а там, где следы, пыль не успела лечь.

Дня два назад. Может быть, три.

Ершова стояла в холоде минус восемнадцати и думала.

Кто-то пришёл сюда. Взял один контейнер. Открыл его — здесь или потом. И ушёл. И контейнер остался открытым и пустым.

Или — кто-то пришёл, открыл, и что-то случилось. И поэтому контейнер стоит здесь, открытый, а не в Малой Ушаковке.

Она достала телефон. Сфотографировала: контейнер, крышку, следы. Потом этикетки на других контейнерах. Потом схему на стене — она не заметила её сначала, потому что она висела в тёмном углу: та же схема, что была в папке у Тарасенко, только оригинал, карандашом на ватмане, прикреплённый четырьмя кнопками. Она сфотографировала её крупно.

Потом вышла из камеры. Вернулась к стеллажу с папками. Взяла три — наугад, из разных мест: одну с правого края, одну из середины, одну с нижней полки. Прижала к груди.

Поднялась по лестнице. Вышла в технический коридор. Закрыла дверь — не заперла, потому что ключ нужно было вернуть Тарасенко — нет, не нужно. Заперла. Ключ — в карман.

В котельной было тепло. Контраст с холодом подвала был таким резким, что у неё на секунду закружилась голова. Она прислонилась к стене. Подышала — раз, два, три, — и головокружение прошло.

Тридцать восемь часов без сна.

Неважно.

Она разложила папки на столе в ординаторской и начала читать.

Тарасенко сидел напротив. Молча — он понял, что сейчас не время для разговоров. Только один раз встал, принёс два стакана чая — горячего, слишком сладкого, из пакетика. Поставил рядом с ней. Она выпила, не отрываясь от страниц.

Папки рассказывали историю по частям — не последовательно, потому что она взяла их наугад, но достаточно, чтобы собрать контур.

Штамм ВД — вегетативный деструктор, как он был обозначен в первых протоколах, без объяснения, почему именно это название, — был обнаружен в 1976 году. Не создан — обнаружен. В почве. Именно в том районе, к северу от Малой Ушаковки, где потом поставили объект ВД-2. Обнаружен группой геологов во время разведочного бурения: лаборант почувствовал запах — необычный, сладковатый, отметил в полевом журнале, — и взял образец. Лаборант потом попал в больницу с симптомами, которые списали на отравление. Выписали через месяц. Образец ушёл в Москву.

Москва вернулась в 1977-м с группой из шести человек и предписанием строить объект.

Что именно было в штамме — папки описывали косвенно, протокольным языком, который говорит много и не говорит ничего. Она собирала смысл из обрывков: способность к внеклеточному размножению — значит, не вирус, не классическая бактерия. Сетевая структура роста — то, что Сомов называл белые нити? Выработка нейротоксинов группы X при контакте с нервной тканью млекопитающих — вот откуда галлюцинации, изменение сознания, белые глаза. Нейротоксин. Прямое поражение нервной ткани.

Механизм распространения: предположительно аэрозольный при температурах выше 0 °С. При температурах ниже 0 °С — инертен. Оптимальная температура активности: +20 °С — +35 °С.

Она остановилась.

Плюс двадцать — плюс тридцать пять.

За окном — июль. Иркутск в смоге. Тридцать два градуса в тени. Три недели такой жары — и это не конец.

Оптимальная температура активности.

Она перевернула страницу.

Попытки нейтрализации: гипохлорит натрия (10%) — неэффективен. УФ-излучение — частичное подавление при экспозиции 48 часов. Высокие температуры: +120 °С — частичная гибель, +200 °С — полная инактивация.

Огонь.

Вот почему они сожгли деревню. Не потому, что не было другого выхода. Потому что огонь был единственным, что работало.

Ершова посмотрела на Тарасенко.

— Слава, — сказала она. — В 1981 году. Когда случилась вспышка в деревне. Это было летом?

Он медленно кивнул.

— Август. По слухам.

— А объект ВД-2 — он всё это время работал? Охлаждение функционирует.

Долгая пауза.

— Кто-то его обслуживал, — сказал он. Не отвечая напрямую. Не глядя на неё.

— Кто?

— Наташа...

— Вячеслав Борисович. — Она впервые за весь разговор назвала его по имени-отчеству, и он это почувствовал — выпрямился. — Кто обслуживал объект под этой больницей последние сорок лет?

Пауза стала другой. Плотнее.

— Был договор, — сказал он наконец. Голос стал тихим, почти неслышным. — Технический договор. С областным ФСБ. Ещё советский, потом переоформленный. Раз в год приезжали. Проверяли охлаждение. Уходили. Мне говорили — радиационный могильник, стандартная процедура. Я не спрашивал.

— Ты знал.

— Я знал, что не надо спрашивать, — поправил он. И это была другая фраза. Важная.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.